

НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ В ПОЭЗИИ Л. МЕЯ

Л. Я. Бобрицких

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 22 декабря 2022 г.

Аннотация: в статье рассматриваются демонологические образы славянской мифологии в рецепции Л. Мея. Обращаясь к народным поверьям, поэт использует фольклорно-мифологические образы и связанные с ними мотивы, но репрезентует их иначе, исходя из своего мировосприятия и литературно-эстетических взглядов.

Ключевые слова: поверье, мотив, образ, домовой, русалка, вихорь, оборотень, леший, Л. Мей.

Abstract: the article deals with the demonological images of Slavic mythology in the reception of L. Mey. Turning to folk beliefs, the poet uses folklore and mythological images and motifs associated with them, but represents them differently, based on his perception of the world and his literary and aesthetic views.

Keywords: belief, motive, image, house spirit, mermaid, whirlwind, werewolf, wood spirit, L. Mey.

Проблема взаимосвязи литературы и фольклора занимает важное место в современной фольклористике. Обращение к поэтике традиционных фольклорных жанров дает художникам слова огромные возможности для самовыражения. Причем нужно отметить тот факт, что писатели используют не только элементы поэтики, непосредственно заимствованные из фольклора, но также создают и свои, индивидуально-авторские, так или иначе связанные с фольклором генетически или типологически.

В своей статье мы попытаемся показать, как использовал поэтику традиционного русского фольклора, славянской мифологии Л. А. Мей, поэт и переводчик, к сожалению, на сегодняшний день мало изученный, «пропущенный критикой» (Ап. Григорьев) и незаслуженно забытый.

Детство Мея прошло в имении бабушки Агриппины Станиславовны Шлыковой, где они с матерью поселились после смерти отца. Патриархальный уклад этой состоящей из одних женщин семьи, жизнь которой протекала в тесном общении с немногими крепостными слугами, несомненно, сказался на формировании личности будущего поэта. Отсюда «вынес он любовь к уходящему в прошлое быту и глубокий интерес к народной поэзии, который заронили в мальчика его “учителя”» [1, 6].

Особое место в поэзии Мея занимают старинные поверья и персонажи славянской демонологии («Хозяин» (1849), «Русалка», «Вихорь» (оба 1856), «Оборотень» (1858), «Леший» (1861)).

Стихотворение «Хозяин» открывается бытовой зарисовкой: «низенькая светелка» «чисто прибраная», «пол отструган гладко», «ровен потолок», «печ-

ка развальная», «по стенам — укладки с дедовским добром», «узкая скамейка, крытая ковром», «кровать резная с пологом цветным».

На кровати крепко спит седой старик <...>

А за печкой кто-то нехотя ворчит:

Знать, другой хозяин по ночам не спит! [2, 152–153]

Это домовой, мифологический покровитель семьи. Он происходит от предков данного рода. У Е. Е. Левкиевской читаем: «Тишина и покой царят над крестьянской усадьбой. Но кто-то не спит. Какой-то странный маленький старичок ... заросший седой бородой, появляется в дверях хлева. Одет он в белую рубаху с красным поясом, домотканые штаны и лапти. Неспешно, по-хозяйски обходит скотину...» [3, 23].

В стихотворении Мея домовой выполняет те же функции, что и в фольклоре: «Обошел обычным я дозором дом...» [2, 153] (Ср.: «...старичок обходит весь двор» [3, 23]). «От конюшни кучки снега отгребешь, Корму дашь лошадам, гривы заплетешь...» [2, 153] (Ср.: «...направляется к лошадям, чистит и гладит их, расчесывает гривы, заплетает им в гривах косички, такие мелкие и тугие, что расплести их почти невозможно» [3, 23]). Домовой все видит, все знает и может наказать домочадцев за лень, ругань, грязь в доме. Особенно не любит домовой ссоры в семье. «В отместку за беспорядок он проявляет агрессию <...> давит спящих людей и стаскивает с них одеяло» [3, 27].

Данное поверье Мей использует в несколько ином ключе. Поэт вводит в стихотворение мотив молодой жены при старом муже, взятый из народной лирической песни. В одной из них есть такие строки:

Житье мое, житье,

Житье, горькое житье,

Ты, житье мое, беда:

Муж — старик, я — молода. <...>

*Мне охота бы гуляти,
Погулять бы с молодым,
Не со старым со седым [6, 302].*

У Мея хозяйка «больно черноброва, больно молодая, — На сердце тревога, в голове — беда! <...> При людях смеется, а — глядишь — тайком Плачет да вздыхает...» [2, 153]. За домовым как мифологическим главой семьи признавалось право поучать людей. У Мея домовой наказывает молодую жену, боясь, что она «одурочит мужа-старика».

*Погоди ж, я с нею шуточку сшучу
И от черной думы разом отучу:
Только обойдется с грезой горячо —
Я тотчас голубке лапу на плечо,
За косу поймаю, сдерну простыню <...>
Всей косматой грудью лягу ей на грудь
И не дам ни разу наливной вздохнуть... [2, 153–154]*

(Ср.: в быличках домовой часто представляется «лохматым, мохнатым, заросшим шерстью или волосами» [3, 31]).

Народные поверья, «погруженные в бытовую обстановку, выраженные в форме реально-бытового рассказа ... выступают как народно-фантастическое объяснение явлений действительности, не исключаящее и другого, “житейского”» [4, 173]. Стихотворение Мея завершается словами, вложенными в уста домового:

*Защемлю ей сердце в крепкие тиски:
Скажут, что зачала с горя да с тоски [2, 154].*

«Таким образом, фантастическая мотивировка как бы выдается за истинную, а здравый смысл людей, объясняющих смерть молодой жены естественными причинами, — недомыслием» [4, 174].

Подобный характер носит изложение народного поверья и в стихотворении «Вихорь», хотя здесь «вторая мотивировка болезни и смерти девушки оказывается не менее фантастичной, чем первая» [4, 174]:

*Думали семьею,
Думали-гадали
И решили: «с глазу!» —
Так тому и быть... [2, 166]*

В основе стихотворения лежит поверье о вихре — пыльном столпе, который одушевляется народом. Считалось, что, если «в вихорь бросить какое-нибудь острое орудие, например нож, — на ноже останется кровь, а бросивший умрет ровно через год» [5, 146].

Главная героиня стихотворения — деревенская красавица Доня, пригожей которой «разве что далёко, А в соседстве нет» [2, 163]:

*Косы по ладони;
Грудь как у лебедки;
Очи с поволокой;
Щеки — маков цвет [2, 163].*

Перед нами портрет, характерный для героини народной лирической песни: «...на Марьюшке Кудри русые <...> По плечам лежат. По белому лицу, По рюмяному...» [7, 167].

Доня, как большинство крестьянских девушек, отчается трудолюбием: «...что божья птичка — На заре ложится, На заре встает» [2, 163].

Мей вводит в стихотворение картины природы, которые создают особое напряжение в развитии действия, предвещая встречу героини с «призраком»: «Солнце ... Колет, как иглою; Стелется на поле Дым, не то туман <...> Знать, перед грозой <...> А вдали зарница Красный полог кажет... Ходят вдоль дороги Пыльные столпы...» [2, 163–164].

Структура образа вихря усложняется поэтом: с одной стороны, в нем заметны признаки демонологического существа, напоминающего лешего («вырос из земли», «волосы копною», «борода в пыли»). По народному поверью, «появлению лешего обычно сопутствует вихрь или резкий ветер» [8, 323]. В поверьях часто рассказывается «о пристрастии лешего к девушкам и женщинам, которых он похищает из домов или заманивает к себе в лес и берет в жены» [8, 324]. С другой стороны, «призрак» наделен чертами молодца-соблазнителя из народной лирической песни:

*Что ж не молвишь слова,
Что не приголубишь?
Аль еще не знаешь —
Что за зелье страсть? [2, 165]*

(Ср.: «Ты, отрада, ты, отрада, Ты обрадовай меня, Удалого, молодого чумака из кабака!» [7, 120]).

Спасая девичью честь, Доня бросает в «призрака» серп, тем самым разрушая его колдовские чары. Однако после этого случая девушку словно подменили:

*Мать с отцом видали,
Как она украдкой
Утирала слезы
Белым рукавом <...>
Доня все хирела,
Сохнула и чахла... [2, 166]*

Завершается стихотворение умозаключением крестьян, которые «всем селом решили. — Этакой напасти Где избыть серпом! <...> “От беды да страсти Оградись крестом”» [2, 166–167].

Стихия устной народной речи, сказа особенно увлекает поэта в стихотворениях «Русалка» и «Оборотень». «Следуя за Кольцовым, он (Мей. — Л. Б.) ищет в народной песне средств для выражения своих чувств и для описания народного быта. Однако при этом поэт стремится к обработке разветвленных, сложных ... сюжетов, дающих возможность развернуть эпическое повествование» [4, 174]. По мнению Л. М. Лотман, уже в «Русалке» «сочетаются описание бурной природы, фантастическая картина игр русалок, лирическое повествование о страданиях загубленной души и реальные очерки ежедневного крестьянского быта, данные в стиле безыскусственного народного рассказа» [4, 174].

Открывается стихотворение картиной разбушевавшейся стихии: «Мечется и плачет... озеро лес-

ное», «Тучей потемнело, брызжет мелкой зернью...», «Ветер по дуброве серым волком рыщет; Молния на землю жгучим ливнем прыщет...» [2, 160–161]. Природа здесь одушевлена, в ней все подвижно. Этот эффект передается с помощью метафор-олицетворений: озеро «мечется», молния «ливнем прыщет», ветер «волком рыщет»; эпитетов: «жгучим ливнем», «вихрем перелетным». Прием одушевленности пейзажа служит для демонстрации равноправия мира человека и мира природы (русалочьего мира): подводное царство не есть царство мертвых, там тоже кипит жизнь, гармоничное течение которой ничто не нарушает. «На голос бури» из воды появляются русалки. По словам А. Н. Афанасьева, «русалка означает водяную деву» [9, 150]. Чаще всего русалками становились «утонувшие женщины, умершие до замужества девушки» [3, 127]. Их можно было увидеть сидящими на плотах, прибрежных камнях, расчесывающими костяными или железными гребнями волосы, стирающими белье, подобно деревенским бабам, или сидящими на вертящихся колесах водяных мельниц, а иногда — «качающимися на ветвях деревьев, которые растут по берегам водоемов» [3, 132]. Русалки не любят, когда за ними подглядывают. Преследуя любопытного, они нападают на него и могут до смерти защекотать. Русалки увлекают чарующим смехом или пугают диким хохотом. Их длинные волосы похожи на кудель, и расчесывают они их не для того, чтобы «шелком кудрей» заманить пловца или путника, а из-за связи с прядением. Русалка формально считается нечистой, потому всегда простоволоса и не расчесана, какие бы усилия она ни прилагала в попытке уподобиться человеку, волосы которого должны быть соответствующим образом уложены, приведены в порядок.

Мей использует многие из перечисленных «русалочьих» мотивов: мотив прядения («...побросавши прялки, Вынырнули со дна резвые русалки...»), мотив смеха («Любо им ... звонким смехом с громом окликаться!...»), мотив расчесывания волос («Чешут белым гребнем косы рассыпные...»). В описании русалок поэт использует различные природные образы, среди которых особое место занимают орнитологические («Ласточки быстрее ... Руки их мелькают...», «Притаилась в листе ... Слово белый лебедь в тростнике озерном...»), широко распространенные в фольклоре (сказках, обрядовой и необрядовой поэзии) (Ср.: «Марья <...> поплыла лебедью, Лебедушкой белою» [7, 143]).

В своем стихотворении Мей также использует распространенный мотив русалки — брошенной невесты. В основе сюжета лежит рассказ о трагической судьбе девушки, обманутой возлюбленным. Мать ее в детстве холила и лелеяла, и выросла она такой, что «нет ее красивей в целом хороводе». А далее банальная история: «Полюбился парень девке бесталанной, Так ей полюбился, словно душу вынул, Да и посме-

ялся — разлюбил и кинул» [2, 162–163], — характерная для любовной лирической песни (Ср.: «Проторил милый дороженьку, Проторил, да не стал ходить; Любил парень меня, девицу, Да не стал любить!» [6, 125]). Поэт использует здесь фольклорную лексику («лентой алой», «парни удалые», «девки молодые», «сизокрылый голубь»), реалии крестьянского быта («прялки», «посиделки»), что способствует созданию особой лирической атмосферы.

«Благовест далёкой», «песнь... святая» пробудили в душе русалки далекие воспоминания, «много и тоски и муки», «воскресли много были позабытой».

Рада б зарыдала — и того не может;

Сотворить молитву забытую хочет —

Нет для ней молитвы — и она хохочет... [2, 163]

Еще более сложно построено стихотворение «Оборотень». В поэтическое повествование, которое ведется от лица человека из народа, включается своеобразный монолог удалого охотника Митьки, «плясуна» и «певца», в свою очередь передающий фантастический рассказ, услышанный им от Оборотня. Этот, последний, рассказ также прерывается вставными песнями. Речевая стихия стихотворения — живая разговорная русская речь, изобилующая фольклорной лексикой и фразеологией: «правды нигде не схоронишь», «в море не тонет, в огне не горит», «живут... поживают», «дыбом и поднялся волос», «как с гуся вода», «ведать не ведаю», «в огонь ... и в воду», «вот тебе сказ мой», «не было мочи», «свету не взвидел», «на сердце кошка скребет», «не сносить головы», «ждать-пождать». «Ставя перед собой задачу поэтического воссоздания устной народной речи во всей ее непосредственности и выявления заключенных в ней художественных потенций, Мей искал стихотворных размеров и строфики, наиболее удобных для осуществления этого замысла. В «Оборотне» он дает разные образцы размеров (трехстопный дактиль с парными мужскими рифмами, тот же размер с чередующимися женскими рифмами и вовсе без рифм, трехстопный хорей с чередующимися женскими и мужскими рифмами), стремясь при помощи этого ритмического и строфического разнообразия передать интонационное богатство устной речи» [4, 174].

Стихотворение имеет кольцевую композицию. Слова: «Дело то было давно, не теперь, Истинно было... Кто хочет, не верь... Только ведь правды нигде не схоронишь...» [2, 183] — являются своеобразным зачином и концовкой (подобно сказочным), настраивающими читателя на правдивость истории. Экспозиция — рассказ о том, как «в старое время» у Камы-реки, в самом лесу, «пришлые» «мужички» «срубили ... село» и стали жить-поживать, пока не появился в округе необычный волк:

... ни скотины не тронет,

Ни человека, а бродит себе,

Бродит по задворкам, воет да стонет,

Словно покойника чует в избе [2, 183].

Таких волков в народе называли волколаками (*волколаками, вовкулаками*). «Это человек-оборотень, с помощью колдовства превращающийся сам или превращенный другими на определенный срок в волка, но сохраняющий разум» [8, 408]. Оборотничество — это не что иное, как перемещение из человеческого мира в ирреальный. Представления об оборотнях очень древние. Так, в «Слове о полку Игореве» упоминается князь-оборотень Всеслав Полоцкий, который по ночам оборачивался волком: «...из Киева до рассвета дорыскивал до Тмуторокани, великому Хорсу волком путь перебежал» [10, 385]. По народному поверью, «человек, насильно обращенный в волколака, испытывает страх и отчаянье, он не нападает ни на людей, ни на скот...» [8, 410–411].

Историю волколака мы узнаем из рассказа Митьки, которому тот сам поведал ее на пороге смерти. Был он в бытность молодцем, какого не сыскать во всей округе, да «девка сгубила». Желая добиться ее любви, он продает душу дьяволу: «Складень с шеи долой, И на поклон прямо к деду...» [2, 185], чтобы тот обучил его колдовству. Через год парень овладел всеми науками чародейства. Чтобы привлечь внимание «казнобы», он поет ей любовные песни, которые Мей стилизует под фольклорные. Основным приемом их построения является образный параллелизм, когда картина природы соотносится с картиной человеческой жизни:

*Сокол гонит за лебедкою,
Парень думает о том,
Как бы девице молодкою
Под его вздремнуть крылом. [2, 186]*

(Ср.: «Уж ты сад, ты мой сад, Сад не рано цветет, Ох, да осыпается, Да куда ж, милый друг, собираешься...» [7, 127]).

Мей также вводит в стихотворение описание календарных обрядов, связанных с праздником Ивана Купалы. В ночь на Ивана Купалу девушки и парни «играли в воду»: обливали друг друга. При этом считалось, «какую девушку парню удастся облить водой, та и выйдет за него замуж» [8, 55]. «В купальскую ночь допускались всякие вольности в поведении, в частности в отношениях между мужчинами и женщинами» [8, 58].

*Прыгнула с плота, нырнула... и точно
Кто ее в руки мне сунул нарочно... [2, 189]*

Финал истории Оборотня трагичен: нарушив наказ деда не подходить «лих молодцом ... Буде не сняли святого креста» [2, 186], он превращается в волка, и только меткий выстрел Митьки возвращает ему человеческий облик:

*Парень — не волк, да румяный, здоровый...
Волчий на нем полушубок, весь новый;
Только что кровь запеклась на усах
Да угольки потухают в глазах... [2, 189]*

В 1861 году было написано стихотворение

«Леший». Леший здесь получает точно такую же формульную портретную характеристику, как и в народных поверьях: «То всех деревьев выше, То ниже мелкой травки...» [2, 214]. Сравним, как пишет о внешнем облике лешего современник Мей С. В. Максимов: «... если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями. <...> выходя для прогулок, забав и шуток на лесные опушки, он ходит там ... малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь под любым ягодным листочком» [11, 6]. Возможно, Мей и услышал подобные поверья от записавшего их Максимова, который в свою очередь ценил поэта за «неустанное искание сокровищ народной жизни» [12, 330]. Леший — «владыка полновластный Зеленого народа, Он всей лесной державе Судья и воевода» [2, 214]. Сравним у Е. Е. Левкиевской: «Он полновластно владеет всем в лесу — деревьями, лесными зверями и птицами, даже ягодами и грибами. Без его разрешения в лесу ничего нельзя сделать — ни белку поймать, ни гриб сорвать» [3, 73–74]. Леший заботится о лесе и его обитателях, в том числе оберегая их от людей: «Зимою он сугробы В овраге замечает, И тропки он лисицам И зайцам прочищает; И снегом он обносит Берлогу медвежонка, И вьет мохнатой лапой Гнездо для вороненка; И волку-сыромахе Он кажет путь-дорогу, И, на смех доезжачим И звучному их рогу, И стае гончих, зверя В трущобе укрывает...» [2, 214–215]. Такое изображение лесного духа вполне соответствует народным представлениям о нем: в быличках и поверьях он тоже изображается не страшным чудищем и не пустым затейником, а хозяином и защитником дикой лесной природы. Он наказывает тех, кто нарушает правила поведения в лесу (шумит, бранится) и «ведет себя как разрушитель: без цели ломает деревья, губит животных, оставляет незатушенными костры» [3, 76]. «Согласно мифологическим рассказам и поверьям, — пишет Н. А. Криничная, — одной из многочисленных функций лешего является охрана и защита леса. Подчас он не позволяет человеку даже въехать в свои владения <...> Особенно недоброжелателен леший по отношению к дровосеку: прячет у него топор, чтобы сократить время губительной деятельности человека» [13, 268]. Но чаще всего с лешим приходилось иметь дело охотникам. «Без договора с ним охотник не мог и рассчитывать на добычу» [3, 84].

*А в лес пойдет охотник —
Опять стучит дубинка,
И прячется в трущобе
Вся дичь и вся дичинка... [2, 216]*

Леший — большой затейник: то напугает громким хохотом, то собьет путника с дороги и заставит блуждать по лесу, то утащит корзинку с ягодами: «...проберется К грибовницам сторонкой И филином прогукнет <...> В орешнике змеєю Шипит он для потехи, Чтоб девушки у белок Не сняли все оре-

хи» [2, 215]. Леший может подражать голосам людей: «И если бойкий парень Где песенку затянет — Проказник Леший кличем Красавицу обманет...» [2, 215]. Вместе с тем он помогает набрать грибов, ягод, собрать дров, переночевать в лесной избушке, найти дорогу: «...провождает убогую калику», а если «где калику, Позарясь на поневу, Котомочку и кикю С защитым подаяньем, Бродяга ждет — дед стукнет На целый лес дубинкой, Конем заржет, аукнет, Грозой и буйным вихрем Вдоль по лесу застонет, — И в самую трупобу Недоброго загонит...» [2, 216]. Как видим, леший у Мея, в отличие, например, от Катенина или Кюхельбекера, выступает в роли положительного персонажа.

Утомившись за день, леший отправляется «в любимое болото», где его ждет «зыбучая постелья С русалкой-лешачихой» [2, 217]. Здесь Мей соединяет в одном образе черты русалки и «лешачихи» (в народе их называют *лешихи*, *лесовки* или *лесовихи*), так как обе они «похожи на обыкновенных женщин, только ходят с распущенными волосами [8, 324–325], любят качаться на деревьях. Лешихи вплетают в волосы зеленые ветки, русалки на Троицкой неделе «завивают» венки. Леший у поэта предстает нежным, любящим, заботливым по отношению к своей «даме»: «Для ней и незабудки <...> Для ней и соловейки <...> Для ней-то под Купалу... папортник бесцветный Цветет звездой лучистой» [2, 217].

Леший у Мея — образ не только фольклорный, но и авторский. Устав от забот, он засыпает, ему снится чудовище с «паром из ноздрей и искрами», шипящее и свистящее, похожее на крылатого змея. Это «то ли сон, то ли явь — оно превращается в железно-дорожный состав, продукт цивилизации, теснящей живую природу...» [14, 20]: «Дубов — как не бывало: Все срублено, все гладко... Засыпано болото Песком, дресвой и щебнем, И мост над ним поднялся Гранитным серым гребнем...» [2, 218–219].

Таким образом, народно-фантастический образ лешего предстает у Мея как «воплощение нетронутой, дикой, но родной народу и опозитизированной его фантазией природы, которую оттесняет и губит безжалостная цивилизация» [4, 174].

Итак, как показал анализ, обращаясь к народным поверьям, Мей использует фольклорно-мифологические образы и связанные с ними мотивы, но репрезентует их иначе, исходя из своего мировосприятия и литературно-эстетических взглядов.

Воронежский государственный университет

Бобрицких Л. Я., кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и типологии русской и зарубежной литературы

E-mail: bobritskikh@yandex.ru

ЛИТЕРАТУРА

1. Бухмейер К. Лев Александрович Мей (1822–1862) / К. Бухмейер // Стихотворения / Л. А. Мей. — М.: Советская Россия, 1985. — С. 5–22.
2. Мей Л. А. Избранные произведения / вступ. ст., подгот. текста и примеч. К. К. Бухмейер / Л. А. Мей. — Ленинград: Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1972. — 679 с.
3. Левкиевская Е. Е. В краю домовых и леших. Персонажи русских мифов / Е. Е. Левкиевская. — М.: ОГИ, 2009. — 264 с.
4. Лотман Л. М. Лирическая и историческая поэзия 50–70-х годов / Л. М. Лотман // История русской поэзии: в 2 т. — Л.: Наука, 1969. — Т. 2. — С. 124–190.
5. Мей Л. А. Стихотворения / вступ. ст., подгот. текста и примеч. С. Рейсера / Л. А. Мей. — Л.: Советский писатель, 1951. — 336 с.
6. Русские народные песни / сост. и вв. тексты В. В. Варгановой. — М.: Правда, 1988. — 576 с.
7. Народные песни Воронежского края. Антология. — Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1993. — 280 с.
8. Левкиевская Е. Мифы русского народа / Е. Левкиевская. — М.: Издательство Астрель; Издательство АСТ, 2000. — 528 с.
9. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. / А. Афанасьев. — М.: Современный писатель, 1995. — Т. 3. — 788 с.
10. Слово о полку Игореве / [подгот. текста, пер. и коммент. О. В. Творогова] // Памятники литературы Древней Руси: XII век / [вступ. ст., сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева]. — М.: Художественная литература, 1980. — С. 373–387.
11. Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила / С. В. Максимов. — С-Пб.: ПОЛИСЕТ, 1994. — 448 с.
12. Русская литература XIX века. 1840–1860-е годы. Воспоминания, литературно-критические статьи, письма: учебное пособие / под ред. В. Н. Аношкиной, В. П. Зверева, Р. Т. Певцовой. — М.: Высшая школа, 2005. — 623 с.
13. Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора / Н. А. Криничная. — М.: Академический проект; Гаудеамус, 2004. — 1008 с.
14. Райкова И. Н. «Ох, если б крылья да крылья...»: поэт с душой ребенка (фольклорные фантазии Льва Мея) / И. Н. Райкова // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. — 2015. — № 1 (17). — С. 14–22.

Voronezh State University

Bobritskikh L. Y., Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of History and Typology of Russian and Foreign Literature

E-mail: bobritskikh@yandex.ru